

Говард Филлипс Лавкрафт

Модель Пикмана

(Pickman's Model)

Не посчитай, что я спятил, Элиот, на свете встречаются люди и не с такими причудами. Вот дедушка Оливера никогда не ездит в автомобилях — что б тебе и над ним не посмеяться? Ну не по душе мне треклятая подземка, так это мое личное дело, к тому же мы гораздо быстрее добрались на такси. А иначе вышли бы на Парк-стрит и потом тащились пешком в гору.

Согласен, при нашей встрече в прошлом году я не был таким дерганным, но нервы это одно, а душевная болезнь — совсем другое. Видит бог, причин было более чем достаточно, и если я сохранил здравый рассудок, то мне, можно сказать, повезло. Да что ты, в самом деле, пристал как с ножом к горлу? Прежде ты не был таким любопытным.

Ну ладно, если тебе так приспичило, слушай. Наверное, ты имеешь право знать, ты ведь писал мне, беспокоился прямо как отец родной, когда я перестал посещать клуб любителей живописи и порвал с Пикманом. Теперь, после того как он исчез, я порой бываю в клубе, но нервы у меня уже не те.

Нет, я понятия не имею, что случилось с Пикманом, не хочу даже и гадать. Тебе, наверное, приходило в голову, что я прекратил с ним общаться неспроста, мне кое-что о нем известно. Именно поэтому мне не хочется даже задумываться о том, куда он подевался. Пусть выясняет полиция в меру своих возможностей, да только что они могут — они не знают даже про дом в Норт-Энде, который он снял под фамилией Питерс. Не уверен, что и сам найду его снова, да и не стану пытаться, даже при дневном свете! Зачем этот дом ему понадобился, мне известно — вернее, боюсь, что известно. Об этом речь впереди. И, думаю, еще до окончания рассказа ты поймешь, почему я не обращаюсь в полицию. Они захотят, чтобы я их туда отвел, но даже если бы я вспомнил дорогу, у меня не пойдут ноги. Там было такое... отчего я теперь не спускаюсь ни в метро, ни в подвалы — так что смейся, если тебе угодно.

Ты, конечно, знал еще тогда, что я порвал с Пикманом совсем не из-за тех глупостей, которые ему ставили в вину эти вздорные ханжи вроде доктора Рейда, Джо Майнота или Босуорта. Меня ничуть не шокирует мрачное искусство; если у человека есть дар, как у Пикмана, то, какого бы направления в искусстве он ни придерживался, я горжусь знакомством с ним. В Бостоне не было живописца лучше, чем Ричард Аптон Пикман. Я говорил это с самого начала, повторяю и теперь; я не колебался и в тот раз, когда он выставил эту самую «Трапезу гуля». Тогда, если помнишь, от него отвернулся Майнот.

Чтобы творить на уровне Пикмана, требуется большое мастерство и глубокое понимание Природы. Какой-нибудь малеватель журнальных обложек наляпает там-сям ярких красок и назовет это кошмаром, или шабашем ведьм, или портретом дьявола, но только большой художник сумеет сделать такую картину на самом деле страшной и убедительной. Ибо лишь истинному художнику известна настоящая анатомия ужасного, физиология страха: с помощью каких линий и пропорций затронуть наши подспудные инстинкты, наследственную память о страхе; к каким обратиться цветовым контрастам и световым эффектам, дабы воспрянуло ото сна наше ощущение

потусторонней угрозы. Излишне тебе рассказывать, почему картины Фюсли действительно вызывают трепет, а глядя на обложку дешевой книжки-страшилки, захочешь разве что посмеяться. Подобные люди умеют уловить нечто эдакое... нездешнее и дать и нам на миг это почувствовать. Этим умением владел Доре. Им сейчас владеет Сайм. Ангарола из Чикаго. Пикман владел им как никто другой до него и — дай бог — никто не будет владеть после.

Что они такое видят — не спрашивай. Знаешь, в обычном искусстве существует принципиальное различие между живыми, дышащими картинами, написанными с натуры или с модели, и убогими поделками, которые всякая мелюзга корысти ради штампует по стандарту в пустой студии. А вот подлинный мастер фантастической живописи, скажу я тебе, обладает неким видением, способностью создать в уме модель или сцену из призрачного мира, где он обитает. Так или иначе, картины Пикмана отличались от сладеньких придумок иных шарлатанов приблизительно так же, как творения художников, пишущих с натуры, от стряпни карикатуриста-заочника. Видеть бы мне то, что видел Пикман... но нет! Прежде чем вникнуть глубже, давай-ка опрокинем по стаканчику. Бог мой, да меня бы уже не было на этом свете, если бы я видел то же, что этот человек — вот только человек ли он?

Как ты помнишь, сильной стороной Пикмана было изображение лиц. Со времен Гойи он был единственный, кто умел создавать такие дьявольские физиономии и гримасы. Из предшественников Гойи этим мастерством владели средневековые искусники, создавшие горгулий и химер для собора Нотр-Дам и аббатства Мон-Сен-Мишель. Они верили во всякую всячину, а быть может, и *видели* эту всякую всячину: в истории Средневековья бывали очень странные периоды. Помню, как ты сам за год до своего отъезда спросил однажды Пикмана, откуда, черт возьми, он заимствует подобные идеи и образы. И разве не гнусный смешок ты услышал в ответ? Отчасти из-за этого смеха с Пикманом порвал Рейд. Он, как тебе известно, занялся недавно сравнительной патологией и теперь, кичась своей осведомленностью, рассуждает о том, что значат с точки зрения биологии и теории эволюции те или иные психологические и физические симптомы. Рейд говорил, что Пикман с каждым днем все больше отвращал его, а под конец чуть ли не пугал, что в его внешности и повадках появилось что-то мерзкое, нечеловеческое. Он много разглагольствовал о питании и сделал вывод, что Пикман наверняка завел себе необычные, в высшей степени извращенные привычки. Догадываюсь: если вы с Рейдом упоминали Пикмана в своей переписке, ты наверняка предположил, что Рейд просто насмотрелся картин Пикмана и у него разыгралось воображение. Я и сам как-то раз ему это сказал... в ту пору.

Но имей в виду, что я не порвал бы с Пикманом из-за его картин. Напротив, я все больше им восхищался: «Трапеза гуля» — это настоящий шедевр. Ты знаешь, конечно, что клуб отказался ее выставить, а Музей изящных искусств не принял в дар. Могу добавить: картину к тому же никто не купил, и она оставалась у Пикмана вплоть до того дня, когда он исчез. Теперь она у его отца в Салеме: тебе ведь известно, что Пикман происходит из старинного салемского рода; в 1692 году одна из его представительниц была повешена как ведьма.

Я частенько заглядывал к Пикману, особенно когда стал собирать материал для монографии о фантастическом жанре в искусстве. Скорее всего, именно эта картина навела меня на мысль к нему обратиться. Так или иначе, оказалось, что он просто кладезь сведений и идей. Пикман познакомил меня со всеми, что у него имелись, картинами и рисунками в этом жанре, и, ей-богу, если бы о них стало известно в клубе, его бы в два счета оттуда выкинули. Очень скоро он убедил меня и увлек; часами, как школьник, я выслушивал его дикие суждения об искусстве и философские теории, с какими прямая дорога в Данверский сумасшедший дом. Я смотрел на него как на идола, тогда как другие все больше его сторонились, и потому он стал мне доверять;

однажды вечером он намекнул, что, если я пообещаю помалкивать и держать себя в руках, он покажет мне что-то необычное — такого я у него в доме еще не видел.

«Знаешь, — сказал он, — иные замыслы на Ньюбери-стрит непредставимы, да они здесь и не смогут возникнуть. Моя задача — ловить обертоны души, а откуда им взяться на ненатуральных улицах, в искусственном окружении? Бэк-Бэй — это не Бостон, Бэк-Бэй это пока ничто, он слишком недавний, чтобы пропитаться воспоминаниями и обзавестись местными духами. Если здесь и водятся призраки, то это ручные духи приморских низин и мелководных бухточек, а мне нужны человеческие призраки — призраки существ высокоорганизованных, видевших геенну огненную и осознавших, что им открылось.

Художнику место в Норт-Энде. Эстету, если он истинный эстет, следует переехать в трущобы, где сохраняется множество традиций. Бог мой! Неужто не понятно, что такие места не были построены, а *выросли* сами по себе? Там жили, чувствовали, умирали поколение за поколением — в те времена, когда люди не боялись жить, чувствовать и умирать. Тебе известно, что в 1632 году на Коппс-Хилле находилась мельница и что добрая половина нынешних улиц была заложена в 1650 году? Я покажу тебе дома, которые простояли два с половиной века и больше, дома, повидавшие такое, от чего современный дом рассыпался бы в пыль. Что им, современным, известно о жизни и о силах, что за нею стоят? Ты говоришь, будто салемские ведьмы выдумка, но не сомневаюсь, моя прапрапрабабушка рассказала бы тебе много интересного. Ее вздернули на Висельном холме, под взглядом этого ханжи, Коттона Мэзера. Чего больше всего боялся треклятый Мэзер, так это как бы кто-нибудь не выбрался за окаянные рамки обыденности. Жаль, никто его не околдовал и не высосал ночью всю кровь!

Могу показать тебе его дом, и также другой, куда он боялся ступить, несмотря на все свои грозные речи. Ему было известно куда больше, чем он осмелился пересказать в своей дурацкой "Магналии" или наивных "Чудесах незримого мира". Слушай, а знаешь ли ты, что некогда под Норт-Эндом имелась сеть туннелей, соединявших разные дома и дававших тайный доступ на кладбище или к морю? Пусть на земле нас преследуют и гонят, под землю преследователям не проникнуть, откуда доносится ночами смех — не догадаться!

Из каждого десятка домов, что уцелели и стоят на своем месте с 1700 года, в восьми я берусь показать тебе в подполе кое-что интересное. Что ни месяц, читаешь в прессе: среди старых построек рабочие нашли то заделанную кирпичами арку, то колодец, ведущие неизвестно куда. Один такой дом, у Хенчман-стрит, был еще в прошлом году хорошо виден с эстакады надземки. Здесь прятались ведьмы, пираты, контрабандисты с добром, добытым при помощи колдовства и разбоя; говорю тебе, в старое время люди умели жить, умели раздвигать предписанные им границы. Людям было мало одного-единственного мира, умные и смелые шли дальше! А что сегодня? Сплошное размягчение мозгов: члены клуба, по идее знатоки, до дрожи пугаются, когда им показываешь картину, не отвечающую вкусам завсегдатаев чайных салонов на Бикон-стрит!

Единственное, чем хороши наши времена, так это тем, что народ нынче слишком тупой, чтобы дотошно изучать прошлое. Что рассказывают о Норт-Энде карты, записи, путеводители? Тьфу! Да я не глядя берусь показать тебе три-четыре десятка переулков и кварталов к северу от Принс-стрит, не известных почти никому, кроме иностранцев, которых там видимо-невидимо. А всякие там итальяшки и прочие, разве они понимают, с чем имеют дело? Нет, Тербер, эти старинные местечки дремлют себе на роскошном ложе тайн, ужасов и необычных возможностей, и не найдется ни единой живой души, способной их понять и ими воспользоваться. То есть одна живая душа все же есть: в прошлом копаюсь я, и не первый день!

Слушай, ты же всем таким интересуешься. А если я скажу тебе, что завел там себе вторую студию, где охочусь за ночными призраками старинных страхов, где изображаю сюжеты, о которых на Ньюбери-стрит не решаюсь и думать? Разумеется, этих чертовых истеричек из клуба я не ставил в известность, в том числе и Рейда, чтоб он провалился. Придумал, тоже мне: я, мол, в своем роде чудовище, эволюционирую в обратную сторону. Да, Тербер, я давно уже понял: ужас так же заслуживает быть запечатленным в картинах, как и красота. Поэтому я взялся за розыски в тех местах, где, как я небезосновательно полагаю, обитает ужас.

Я нашел там местечко; из нынешних представителей нордической расы о нем, кроме меня, почти никто не знает. Если мерить расстояние, это в двух шагах от эстакады, но что касается истории человеческого духа, эти точки разделяют века и века. Мой выбор решило то, что в подвале имеется старый кирпичный колодец — из тех, о которых я говорил. Развалюха едва держится, так что других жильцов там не появится, а какие гроши я за нее плачу, стыдно и признаться. Окна заколочены, но тем лучше: для того, что я делаю, дневной свет нежелателен. Пишу я в подвале, где самая вдохновляющая атмосфера, но в моем распоряжении еще несколько меблированных комнат на первом этаже. Хозяин — один сицилиец, я назвал его Питерсом.

Ну, если ты решился, отправляемся сегодня же вечером. Думаю, картины тебе понравятся: как уже было сказано, я дал себе волю, когда писал. Путь недалекий, иногда я даже добираюсь пешком; взять такси в такой район — значит привлечь к себе внимание. Можно доехать поездом от Саут-Стейшн до Бэттери-стрит, а там два шага пешком».

Что ж, Элиот, после этой речи мне ничего не оставалось, как только сделать над собой усилие, чтобы не бегом, а обычным шагом отправиться за первым, какой попадется, свободным кебом. На Саут-Стейшн мы сели в надземку и около полуночи, спустившись по ступеням на Бэттери-стрит, двинулись вдоль старой береговой линии мимо причала Конститьюшн. Я не следил за дорогой и не вспомню, в который мы свернули переулок, знаю только, что это был не Гриноу-лейн.

Наконец повернув, мы двинулись в горку по пустому переулку, старинней и обшарпанней которого я в жизни не видел; с фронтонов осыпалась краска, окна в частом переплете были побиты, остатки древних каминных труб сиротливо вырисовывались на фоне освещенного луной небосклона. Все дома, за исключением разве что двух-трех, стояли здесь еще со времен Коттона Мэзера. Два раза мне попадались на глаза навесы, а однажды — островерхий силуэт крыши, какие были до мансардных, хотя местные знатоки древностей утверждают, будто таких в Бостоне не сохранилось.

Из этого переулка, освещенного тусклым фонарем, мы свернули в другой, где было так же тихо, дома стояли еще теснее, а фонарей не было вовсе. Через минуту-другую мы обогнули в темноте тупой угол дома по правую руку. Вскоре Пикман вынул электрический фонарик и осветил допотопную десятифиленчатую дверь, судя по всему безнадежно источенную червями. Отперев ее, он провел меня в пустой коридор, отделанный роскошными некогда панелями из темного дуба — без особой, разумеется, затейливости в рисунке, но явственно напоминавшими о временах Эндроса, Фиппса и ведовства. Потом Пикман провел меня в комнату налево, зажег масляную лампу и предложил располагаться как дома.

Имей в виду, Элиот, я человек, что называется, искушенный, но, оглядев стены, признаюсь, оторопел. Там были картины Пикмана — те, которые на Ньюбери-стрит не только не напишешь, но даже не покажешь, и он был прав в том, что «дал себе волю». Ну-ка еще по стаканчику — мне, во всяком случае, позарез нужно выпить!

Не стану и пытаться описать тебе эти картины: от одного взгляда на них становилось дурно. Это был такой смердящий, кощунственный ужас, что язык тут бессилён. Ты не обнаружил бы в них ни

причудливой техники, как у Сидни Сайма, ни устрашающих трансатлантических пейзажей и лунных грибов Кларка Эштона Смита. Задний план обычно составляли старые кладбища, лесные дебри, береговые утесы, кирпичные туннели, старинные комнаты, отделанные темным деревом, или просто каменные своды. Любимым местом действия было кладбище Коппс-Хилл, которое располагалось поблизости, в двух-трех кварталах.

Фигуры на переднем плане воплощали в себе безумие и уродство: Пикману особенно удавались мрачные, демонические портреты. Среди его персонажей было мало полноценных людей, их принадлежность к роду человеческому ограничивалась теми или иными отдельными чертами. Стояли они на двух ногах, но клонились вперед и слегка напоминали собак. Отталкивающего вида кожа походила во многих случаях на резину. Ну и мерзость! До сих пор они стоят у меня перед глазами! За какими занятиями они были изображены, в подробностях не выяснивай. Обычно кормились, но чем — не скажу. Временами они были показаны группами на кладбище или в катакомбах, нередко — дерущимися из-за добычи, а вернее, из-за находок. И какую же дьявольскую выразительность Пикман умудрялся придать незрячим лицам их жертв! Его персонажи запрыгивали иной раз по ночам в открытые окна, сидели, скорчившись, на груди у спящих, тянулись к их шеям. На одной картине, изображавшей Висельный холм, они окружали кольцом казненную ведьму, в лице которой прослеживалось явственное с ними сходство.

Но только не подумай, будто мне сделалось дурно от жутких сюжетов и антуража. Мне не три года, я всякого навидался. Дело в их лицах, Элиот, в их треклятых лицах, что буквально жили на картине, бросая злобные взгляды и пуская слюни! Бог мой, они вправду казались живыми! Адское пламя, зажженное красками, бушевало на полотнах мерзкого колдуна; кисть его, обращенная в магический жезл, рождала на свет кошмары. Дай-ка, Элиот, мне графин!

Одна из картин называлась «Урок» — лучше бы мне никогда ее не видеть! Слушай... можешь вообразить кружок невиданных тварей, похожих на собак, что, сидя на корточках, учат малое дитя кормиться так же, как они? Наверное, это подмененный ребенок: помнишь старые рассказы о том, как таинственный народец крадет человеческих детей, оставляя взамен в колыбелях собственное отродье? Пикман показал, что случается с украденными детьми, как они вырастают, и после этого я начал замечать зловещее сходство в лицах людей и нелюдей. Показывая разные степени вырождения, от легких его признаков до откровенной потери человекоподобия, он глумливо протягивал между ними нить эволюции. Собаководные твари произошли от людей!

Я еще не успел задуматься о том, как бы он изобразил собственное отродье этих тварей, навязанных людям подменшей, как мой взгляд уперся в картину, отвечавшую на этот вопрос. На ней было старинное пуританское жилище: мощные потолочные балки, окно с решетками, скамья со спинкой, громоздкая мебель семнадцатого века; семья сидела кружком, отец читал из Библии. Все лица выражали почтительное достоинство, лишь одно кривилось в дьявольской усмешке. Оно принадлежало человеку молодому, но уже не юноше, который явно находился здесь на правах сына набожного главы семейства, но на самом деле происходил от нечистого племени. Это был подменш, и Пикман, в духе высшей иронии, придал ему заметное сходство с собой самим.

Пикман успел зажечь лампу в соседней комнате, открыл дверь и, любезно ее придерживая, спросил, хочу ли я взглянуть на его «современные этюды». От страха и отвращения мне отказал язык, и я ничего из себя не смог выдать, но Пикман, похоже, понял меня и остался очень доволен. Заверяю тебя еще раз, Элиот: я вовсе не мимоза и не шарахаюсь от всего, что хоть чуточку расходится с привычными вкусами. Я не юноша и достаточно искушен; думаю, ты, зная меня по Франции, понимаешь, что такого человека не так-то легко выбить из колеи. Помни также, что я уже пришел в себя и кое-как притерпелся к ужасным холстам, на которых Новая Англия была представлена как какой-то придаток преисподней. Так вот, несмотря на это, в соседней комнате я

невольно вскрикнул и схватился за дверь, чтобы не упасть. В первой комнате толпы гулей и ведьм переполняли мир наших предков, в этой же они вторгались в нашу повседневную жизнь!

Боже, что это была за живопись! Один этюд назывался «Происшествие в метро», там стая этих мерзких тварей выбиралась из неизвестных катакомб через трещину в полу станции подземки «Бойлстон-стрит» и нападала на людей на платформе. Другой изображал танцы среди надгробий на Коппс-Хилл, фон был современный. На нескольких дело происходило в подвалах; монстры протискивались через дыры и проломы в каменной кладке, сидели на корточках за бочками и печами и, злобно сверкая глазами, поджидали, пока спустится по лестнице первая жертва.

На одном полотне, самого отталкивающего вида, было представлено поперечное сечение холма Бикон-Хилл, пронизанного сетью ходов, в которых кишели, подобно муравьиным армиям, зловонные монстры. Неоднократно встречались изображения танцев на современных кладбищах, а один сюжет почему-то поразил меня больше остальных: в неведомом сводчатом помещении несколько десятков тварей теснились вокруг одной, которая, держа в руках популярный путеводитель по Бостону, очевидно, что-то зачитывала из него вслух. Все указывали на один из ходов, морды были перекошены в пароксизме безудержного, оглушительного хохота — я почти что слышал его адское эхо. Название картины гласило: «Холмс, Лоуэлл и Лонгфелло покоятся на кладбище Маунт-Оберн».

Постепенно успокаиваясь и приноравливаясь к второй комнате с ее собранием демонов и рожденных больно́й фантазией сцен, я попытался понять, что меня особенно в них отвращало. Прежде всего, сказал я себе, создания Пикмана свидетельствуют о полном бессердечии их творца, о воображении, не обузданном никакими человеческими чувствами. Так упиваться муками разума и плоти, деградацией смертной оболочки человека мог только закоренелый враг рода людского. Во-вторых, картины вселяли тем больший ужас именно вследствие мастерского исполнения. Это искусство было на редкость убедительным — глядя на картину, ты видел подлинных демонов и трепетал перед ними. Странно было то, что Пикман словно бы ни о чем не умалчивал и ничто не искажал. В рисунке не было ничего расплывчатого, условного: четкий контур, жизнеподобие, педантично-подробная прорисовка. А лица!

Ты видел их не через призму восприятия художника — это был пандемониум как он есть, изображенный кристально ясно и объективно. Богом клянусь, это чистая правда! В Пикмане не было ничего от фантазера, сочинителя, он даже не пытался воплотить на полотне мимолетные образы сна — нет, он холодно и насмешливо фиксировал некий прочно устоявшийся механистический мир ужасов, который был открыт ему полностью, с ясностью, не допускавшей иных толкований. Одному Создателю известно, что это был за мир и где являлись Пикману богохульственные образы, передвигавшиеся по нему шагом, рысью или ползком, но, гадая о том, откуда они взялись, в одном можно было не сомневаться: во всех аспектах своего искусства — и в замысле, и в исполнении — Пикман был полным и добросовестным реалистом, опиравшимся едва ли не на научное знание.

Хозяин повел меня теперь в подвал, где, собственно, располагалась его студия, и я готовил себя к тому, чтобы обнаружить на его неоконченных полотнах новые дьявольские сюрпризы. Когда мы добрались до подножия осклизлой лестницы, Пикман осветил фонариком угол обширного пространства и луч уперся в круглое кирпичное сооружение — очевидно, большой колодец в земляном полу. Мы приблизились, и я разглядел, что он достигает в поперечнике футов пяти, стенки, толщиной в добрый фут, поднимаются над грунтом дюймов на шесть и сделан колодец весьма основательно — работа семнадцатого века, если не ошибаюсь. Пикман пояснил, что это как раз то, о чем он рассказывал: вход в сеть туннелей, которые в былые годы пронизывали холм. Я заметил между прочим, что колодец не заложен кирпичом, а прикрыт тяжелой деревянной

крышкой. При мысли о том, что, если намеки Пикмана не были празднословием, через колодец можно попасть в места самые разные, меня пробрала легкая дрожь. Затем мы повернули, поднялись на одну ступеньку и, войдя в узкую дверь, оказались в довольно большой комнате с дощатым полом, оборудованной под студию. Ацетиленовая горелка давала достаточно света, чтобы можно было работать.

Неоконченные картины на мольбертах или у стен производили такое же отталкивающее впечатление, что и оконченные, которые я осмотрел наверху, и были так же тщательно выписаны. Наброски были подготовлены с большим старанием, карандашные линии свидетельствовали о том, что Пикман заботился о правильной перспективе и пропорциях. Он был великий художник — говорю это даже сейчас, когда мне многое стало известно. Я обратил внимание на большую фотокамеру на столе, и Пикман объяснил, что фотографирует сцены, которые собирается использовать как фон, чтобы рисовать их в студии с фотографий, а не выезжать со всеми принадлежностями на этюды. Пикман считал, что фотографии с успехом заменяют натуру или живую модель, и, по его словам, постоянно их использовал.

Мне было очень тревожно в окружении тошнотворных эскизов, наполовину законченных монстров, злобно пялившихся из всех углов, и, когда Пикман внезапно сдернул чехол с громадного полотна, которое стояло в тени, я — второй раз за вечер — не удержался от крика. По темным сводам старинного душного подземелья побежало многократное эхо, и я едва не откликнулся на него истерическим хохотом. Боже милостивый, Элиот, я не знал, где здесь правда, а где больное воображение. Казалось, никто из обитателей нашей планеты не мог бы измыслить ничего подобного.

Это было нечто колоссальных размеров и кошунственного облика, с горящими красными глазами; оно держало в костистых лапах другое нечто, прежде бывшее человеком, и глодало его голову, как ребенок грызет леденец. Наклонная поза чудовища наводила на мысль, что оно вот-вот уронит свою добычу, чтобы устремиться за более сочным куском. Но, черт возьми, неудержимый, панический страх нагоняло не само это исчадие ада с его собачьей мордой, острыми ушами, налитыми кровью глазами, уплощенным носом и слюнявой пастью. Самым страшным были не чешуйчатые лапы, тело с налипшими комьями земли, не задние ноги с подобием копыт — хотя человеку впечатлительному хватило бы и всего перечисленного, чтобы повредиться в уме.

Дело было в живописи, Элиот, проклятой, нечестивой, противоестественной живописи! Богом клянусь, в жизни не видел такой живой картины, она буквально дышала. Чудовище сверкало глазами и вгрызалось в добычу, и я понимал: пока действуют законы природы, никто не способен создать подобную картину без модели; художник должен был хотя бы мельком заглянуть в нижний мир, куда имеет доступ лишь тот из смертных, кто продал душу дьяволу.

К свободному участку полотна был приколот кнопкой скрученный листок, и я предположил, что это фотография, с которой Пикман собирался писать фон, столь же кошмарный, что и передний план. Я потянулся к листку, чтобы расправить и рассмотреть, но тут Пикман вздрогнул, словно его подстрелили. С того мгновения, когда мой испуганный крик пробудил в темном подземелье непривычное эхо, Пикман не переставал напряженно прислушиваться, теперь же он явно испугался, хотя не так, как я: причина страха была реальная. Он вытащил револьвер, сделал мне знак молчать, шагнул в основное подвальное помещение и закрыл за собой дверь.

Похоже, меня на мгновение просто парализовало. Вслед за Пикманом я прислушался: откуда-то донесся, вроде бы, слабый топот, откуда-то еще — взвизги и жалобный вой. Подумав о гигантских крысах, я содрогнулся. Потом послышался приглушенный стук, от которого у меня по коже

побежали мурашки. Он был какой-то неуверенный, вороватый — не спрашивай, что это значит, я не могу объяснить. словно тяжелый деревянный предмет бился о камень или кирпич. Дерево о кирпич — понимаешь, что это мне напомнило?

Те же звуки, теперь громче. Перестук, словно деревяшка отлетела в сторону. Резкий скрежет, бессвязный выкрик Пикмана, шесть оглушительных выстрелов — так стреляет в воздух, ради пущего эффекта, цирковой укротитель. Приглушенный вой или визг, удар. снова стук дерева о кирпич. Наступила тишина, и дверь открылась. Признаюсь, я дернулся так, что едва устоял на ногах. Вошел Пикман с дымящимся револьвером, кляня на чем свет зажавшихся крыс, что шныряют в старинном колодце.

«Черт разберет, Тербер, где они находят корм, — ухмыльнулся он. — Эти древние туннели сообщаются с кладбищем, логовом ведьм и морским побережьем. Как бы то ни было, они оголодали: им до чертиков хотелось выбраться наружу. Наверно, их потревожил твой крик. В этих старинных домах все бы хорошо, если б не соседство грызунов, хотя временами мне думается, для атмосферы и колорита они не лишние».

Ну вот, Элиот, на том и завершилось наше ночное приключение. Пикман обещал показать мне дом и, видит небо, выполнил это обещание сполна. Обрато он повел меня через лабиринт переулков, вроде бы в другую сторону: первый фонарь я увидел на полужнакомой улице с однообразными рядами современных многоквартирных строений и старых домов. Это была Чартер-стрит, но откуда мы на нее вывернули, я не заметил, потому что голова у меня шла кругом. На поезд мы уже опоздали, пришлось идти пешком по Хановер-стрит. Этот путь мне запомнился. Мы шли по Тримонт, потом по Бикон; на углу Джой я простился с Пикманом и свернул за угол. После этого я и словом с ним не перемолвился.

Почему я с ним порвал? Не торопи события. Погоди, я позвоню, чтобы принесли кофе. Мы уже изрядно нагрузились другим напитком, но что касается меня, мне это было необходимо. Нет, дело не в картинах, которые я видел в студии, хотя из-за них Пикмана подвергли бы остракизму чуть ли не во всех домах и клубах Бостона; и, думаю, тебя больше не удивляет, что я избегаю метро и всяческих подвалов. Виною разрыва был один предмет, который я на следующее утро обнаружил у себя в кармане куртки. Ты ведь помнишь: к жуткому полотну в подполе был прикноплен свернутый листок и я подумал, что это фотография, с которой Пикман собирался писать фон для своего чудовища. Когда произошел переполох, я как раз разворачивал бумажку и, наверное, машинально затолкал ее себе в карман. Ага, вот и кофе. Лучше черный, Элиот, сливками только испортишь.

Да, именно из-за этой бумажки я порвал с Пикманом — Ричардом Аптоном Пикманом, величайшим художником из всех, кого я знаю, и самым отвратительным ублюдком из всех, кто когда-либо перешагивал границы бытия, чтобы погрузиться в пучину бреда и безумия. Старина Рейд был прав, Элиот. Пикман был не вполне человеком. Он либо рожден под сенью тайны, либо нашел ключик к запретным вратам. Но это теперь неважно, он исчез — возвратился в мифическую мглу, где так любил блуждать. Да, распоряжусь-ка я, чтобы зажгли свет.

Только не спрашивай меня о сожженной бумаге; я не собираюсь делиться ни объяснениями, ни даже догадками. Не спрашивай и о том, что там была за возня в подполе, которую Пикман так старался приписать крысам. Знаешь, со старых салемиских времен в мире уцелели некоторые тайны, а в рассказах Коттона Мэзера встречаются и не такие чудеса. Тебе ведь известно, каким поразительным правдоподобием отличались картины Пикмана и как мы все гадали, откуда он взял эти лица.

Так вот, насчет листка: выяснилось, что никакая это не фотография фона. Все, что там было, это чудовищная тварь, которую Пикман изображал на полотне. Это была его модель, а фоном служили стены подземной студии, видимые во всех подробностях. Но, боже мой, Элиот, *это была фотография с натуры.*

*Перевод: Людмила Брилова
2010 год*